

Предлагаем вниманию читателей две статьи из готовящегося к выходу сборника «Векторы развития современной России». М.: Изд-во Интерцентр.

А. В. Борисенкова

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК НАРРАТИВ: К ПРОБЛЕМЕ РАЗЛИЧЕНИЯ ОБЫДЕННОГО И НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Ученики спросили Фарида: «Что есть судьба?»

– Бесконечная последовательность взаимосвязанных событий, причём каждое влияет на другое.

– А я верю в причину и следствие, – сказал один из учеников.

– Очень хорошо, – сказал Мастер. – Вчера на площади повесили человека, совершившего убийство. В том ли причина, что кто-то дал ему серебряную монету и он купил нож, которым совершил преступление; или в том, что кто-то увидел, как он совершал его; или в том, что никто не остановил его? Или в том, что у него плохая наследственность?

(Индийская притча)

В рассуждениях о специфике социологического исследования понятие «интерпретация» (истолкование) встречается едва ли не чаще любых других. Оно фигурирует на самых разных уровнях дискуссии. Идет ли речь о программном определении социологии М. Вебером, согласно которому «социология есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие», или же об установлении связи между двумя переменными, интерпретация выступает в качестве основной методической процедуры. Несложно заметить, насколько часто мы употребляем данное понятие, описывая собственные действия в процессе социологического исследования: «интерпретация результатов», «интерпретация высказываний респондентов», «интерпретация смысла события или действия», «интерпретация контекстов и фреймов».

Несмотря на кажущуюся очевидность, вопрос о природе и правилах социологической интерпретации содержит много непроясненных моментов. Можно ли дать некое общее определение социологической интерпретации? Иными словами, что объединяет процедуры истолкования, направленные на столь разные единицы анализа, такие как текст, действие и результаты эмпирических наблюдений? По каким критериям следует оценивать адекватность проделанной интерпретации? Существуют ли правила, следование которым гарантирует получение адекватной интерпретации? Наконец, что отличает социологическую интерпретацию от предположительно родственной ей процедуры – обыденного толкования, осуществляемого акторами в повседневной жизни по отношению к происходящим событиям и мотивам действий друг друга? Безусловно, подробный анализ всех этих аспектов не может ограничиться рамками одной статьи. Тем не менее мы обратимся к дискуссиям, возникшим в философии истории, задающим определенную оптику рассмотрения специфики процедуры интерпретации и ставящим весьма сложные вопросы как перед исторической наукой, так и перед социологией.

Интерпретация как поиск причин

Проблема объяснения и описания событий прошлого является центральной для исторической науки. Почему в тот или иной исторический период имели место именно эти события? Какие факторы способствовали свершению рассматриваемых событий? Как возможно адекватно описать событийную последовательность? Эти вопросы задает

историк, приступая к анализу прошлого. Предметом оживленных дискуссий в истории оказались две объяснительные модели. Первая модель (*covering-law model*), представленная К. Гемпелем, исходит из того, что между природными и историческими событиями нет существенной разницы и научное объяснение в истории подобно генерализующему закону в естественных науках, оно имеет место тогда, когда связь между единичными событиями выводится из общего высказывания. Хотя данная объяснительная модель и вызвала много споров среди историков и философов науки, она не получила дальнейшего развития в отличие от второй модели, представленной У. Дреем и послужившей отправной точкой разработки теоретико-методологической программы интерпретации прошлого. В отличие от Гемпеля, Дрей подчеркивает специфику человеческой истории относительно происходящего в природном мире. Согласно модели Дрея, событие можно объяснить и понять, если удастся выяснить цель его участников и избранное средство, исходя из преследуемой цели. Подход Дрея близок герменевтике, в которой значимое место занимает категория понимания или постижения смысла текстов и человеческих действий.

Если дреевская модель исходит из антропоцентризма исторического познания (внимание исследователя фокусируется на единичных человеческих действиях), дискуссии, последовавшие за ее появлением, пошли гораздо дальше, представляя историческое познание в виде установления единичных каузальных связей не только между действиями, но и (вовсе не обязательно вызванными индивидуальной волей) событиями на макро- и микроуровне. Рассуждения о каузальном анализе мы обнаруживаем в принципиально значимых для исторических и социальных наук работах М. Вебера, А. Данто, Р. Арона и П. Рикера.

Постановка проблемы поиска каузальных связей в историческом исследовании основана на представлении о том, что «в истории никогда нет ни чистых событий, ни чистой феноменальной реальности, а есть замена конкретного определенным числом высказываний, которые представляют собой описание или установление того, что произошло. Мыслимая или рассказанная историком история не есть отражение или копия пережитой битвы, это *реконструкция* или *реконституция*». С этой точки зрения, события начала, протекания и завершения Марафонской битвы являются не событиями, реально свершившимися, а элементами одной из возможных версий исторического повествования. Соответственно, задача историка заключается в реконструкции

каузальных связей между событиями и выборе наиболее вероятных вариантов среди возможных.

Вопрос о процедуре интерпретации в историческом исследовании ставится в связи с процедурой каузального анализа, то есть поиска связи между antecedentом рассматриваемого события и его следствием. «Каузальный анализ, – рассуждает Поль Рикер, – это, по сути дела, отборочный анализ, нацеленный на проверку права того или иного кандидата на роль причины, то есть права занимать место "потому что..." в ответ на вопрос "почему"...». Таким образом, любая интерпретация предполагает поиск ответа на вопрос: «*что именно* могло привести к *такому результату?*».

Более того, каузальный анализ оказывается общим местом, объединяющим историю и социологию. Как и историк, социолог также исследует причинные связи. Но разница заключается в том, что, если историк ищет уникальный antecedent уникального исторического события (например, причину Марафонской или Аустерлицкой битвы), то социологу предстоит найти antecedent регулярный, то есть способный проявиться вновь и вновь. Так, вслед за Вебером, мы, интерпретируя, пытаемся выявить причины социальных действий (выступления на митинге, кражи или более обыденного действия – уступки места в метро) в целеполагании действующих. Задача – выявить именно те причинные события, которые имеют вероятность свершаться регулярно и каждый раз приводить к аналогичным результатам. Интерпретируя эмпирические наблюдения, социолог выбирает наиболее адекватного кандидата на роль причины данного положения дел среди возможных. Например, исследователь получил данные о том, что среди католиков уровень самоубийств гораздо ниже, чем среди протестантов. Он выводит причину из других постулатов социологической теории и ранее проинтерпретированных наблюдений: а) социальная связь обеспечивает психологическую поддержку членам группы, подверженным стрессам и ощущению беспокойства; б) самоубийства являются функцией не нашедших выхода чувств беспокойства и стресса, испытываемых личностью; в) у католиков социальные связи более тесные, чем у протестантов; г) следовательно, предполагается более низкий уровень самоубийств среди католиков, чем среди протестантов.

Таким образом, анализируя процедуру каузального анализа, мы можем раскрыть особенности интерпретации, а также обратиться к проблеме сопоставления исторического и социологического знания.

Научная процедура или рассказ?

Поль Рикер обнаруживает интересную особенность в самой процедуре интерпретации или поиске связи между анцетедентом и следствием. Каждый раз, когда ученый пытается выстроить возможный ход действий исторического персонажа или иной ход событий, он приступает к абстрагированию и создает определенное мысленное построение. При этом мысленное построение носит скорее не строго логический, а вымышленный, фантастический характер.

«Логика каузального вменения, – пишет Рикер, обращаясь к работе Вебера ‘Критические исследования в области логики наук о культуре’ – предполагает конструирование нашим воображением иного хода событий, затем взвешивание вероятных последствий этого нереального хода событий и, в итоге, сравнение последствий нереальной событийной цепи с известными последствиями реального хода событий. Для того чтобы понять природу реальных причинных связей, мы *конструируем* связи *нереальные*. Всякий историк, чтобы объяснить то, что было, задается вопросом о том, что могло бы быть».

Рикер заимствует пример у Вебера: «Вопрос, что могло бы случиться, если бы Бисмарк не принял решения начать войну, отнюдь не ‘праздный’. Какое каузальное значение следует придавать индивидуальному решению во всей совокупности бесконечного множества моментов, которые должны быть именно в таком, а не ином соотношении для того, чтобы получился именно этот результат... Вот эта оговорка, – пишет Рикер, – “в таком, а не ином” и свидетельствует о появлении на сцене воображения. Начиная с этого момента рассуждение движется среди нереальных прошедших условных наклонений...».

Рикер совершает любопытное сопоставление. Он отмечает, что как только исследователь применяет вероятностную логику рассуждения («что могло бы быть»), он создает построение, подобное *нарративу*. Нарратив, повествование или рассказ – это особое образование на уровне дискурса, точнее, фигур речи, родственное метафоре, но, в отличие от метафоры, создающее эффект семантической инновации не на уровне

отдельных слов, а целых предложений. Если в лингвистических и литературных теориях (А.-Ж. Греймаса, русских формалистов) нарратив выступает в качестве характеристики художественного произведения, то Рикер наделяет его более широким значением. В соответствии с логикой Рикера, нарратив является фундаментальной чертой человеческого опыта. В повествованиях представлены наши воспоминания. Человеческое действие приобретает смысл именно тогда, когда совершается ряд высказываний о нем, то есть создается нарратив. Событие коммуникации через некоторый промежуток времени оказывается предметом повествования, когда участники рассказывают о нем. Более того, повествование подчиняет разрозненные, дискретные элементы опыта (у Рикера это события и действия) смысловому нелинейному порядку. Рассказчик описывает события не в соответствии с последовательностью, в которой события свершились, а исходя из собственной логики повествования.

Приведем простой пример. Нарратор строит повествование: «Расскажу Вам, как я ушиб ногу. Никогда моя нога не болела так сильно, как сейчас... С трудом хожу... Шел я как-то по проспекту, засмотрелся на рекламный щит, который мне показался очень забавным. Споткнулся о небрежно лежащую на тротуаре плитку и, поскольку не успел посмотреть под ноги, упал... ». Очевидно, что порядок событий, описанных в повествовании, не совпадает с их хронологией. Сначала человек шел по проспекту, затем посмотрел на рекламный щит, не посмотрел под ноги, споткнулся, упал, ушиб ногу, потом нога заболела. Но нарратив строится исходя из иной логики, логики нарратора который выделяет события в порядке их значимости для рассказа. Таким образом, нарратив представляет собой смысловую конфигурацию событий и действий и одновременно репрезентацию событий и действий, свершившихся в опыте.

В воображаемой конструкции историка события так же встраиваются в сюжет, напоминая логическую связь нарративной конфигурации: «Если бы Бисмарк не принял решения начать войну, исторические события развивались бы следующим образом...». Историк, как и нарратор, трансформирует порядок свершившихся событий. Речь идет не о том, какие действия *на самом деле* предпринимал Бисмарк. Ученый выстраивает рассуждение вокруг вероятного хода событий, подчиняя его логике, отличной от простой хронологии.

Такого рода вымышленные конструкции присутствуют и в социологическом исследовании. Социология (как определяет ее М. Вебер), «стремящаяся, истолковывая,

понять социальное действие», также создает нереальные связи – идеальные типы, являющиеся методологическим инструментом анализа причин или субъективного смыслополагания. Идеально-типическая конструкция представляет собой, как и нарратив, искусственно созданную связь событий или фактов, фиксирующую определенные черты эмпирической реальности, но не являющуюся непосредственным ее отображением.

«Более того, – рассуждает Рикер, – нереальные конструкции должны оставаться составной частью исторической и социальной наук, даже если они не выходят за рамки сомнительной правдоподобности, ибо они одни предоставляют единственный способ избежать ретроспективной иллюзии фатальности». Использование нереальных (нарративных) конструкций служит напоминанием о том, что исторические и социальные науки исследуют проявления воли живых людей, чьи действия и зависящие от них события всегда имеют альтернативный исход. В другом случае события и действия становятся подобными событиям неживой природы в модели Гемпеля, подчиняющимся законам и лишенными «возможности свершиться иначе».

В качестве примера использования нарратива в социологии Поль Рикер приводит работу Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Тип рассуждения, предпринятого Вебером в данной работе, соответствует рассмотренному каузальному анализу. Связь между определенными чертами протестантской этики и определенными чертами капитализма конституирует сингулярную каузальную связь, хотя и затрагивающую не отдельных индивидов, но социальные отношения и институты.

«Автор, – рассуждает Рикер, – воображает ход истории, где рассмотренный духовный фактор отсутствовал бы и где другие факторы играли бы роль, которую, как предполагается, выполняет протестантская трудовая этика...». Ход рассуждения Вебера в данном случае можно сравнить с построением нарратива. Не находя исчерпывающих ответов на свои вопросы в статистических данных, он строит вымышленные связи исторических фактов, пытаясь выяснить, имеют ли право такие факторы, как рационализация права, организация торговли, технические изобретения, развитие научного метода претендовать на роль основной причины развития капитализма.

Вебер создает нарративную конфигурацию, исключая развитие рационализма как возможную причину рождения духа капитализма. Предполагая, что развитие

рационализма может быть той самой причиной, он строит свой аргумент следующим образом: «При первой же серьезной попытке такого рода становится очевидным, что подобная упрощенная постановка проблемы невозможна хотя бы по одному тому, что история рационализма отнюдь не является совокупностью параллельно прогрессирующих рационализаций отдельных сторон жизни. Рационализация частного права, например, если понимать под этим упрощение юридических понятий и расчленение юридического материала, достигла своей высшей формы в римском праве поздней античности и была наименее развитой в ряде достигших наибольшей экономической рационализации стран, в частности, в Англии, где рецепция римского права в свое время потерпела неудачу ввиду решительного противодействия со стороны мощной юридической корпорации, тогда как в католических странах Южной Европы римское право пустило глубокие корни...». Так, в рассуждении социального ученого переплетаются хронологические и воображаемые («если бы развитие рационализма было бы достаточной причиной») событийные ряды. Соответственно, как только исследователь в процессе интерпретации социальных явлений совершает предположение, в его дискурсе становится различимой нарративная конструкция.

Здесь как раз и возникает проблема демаркации обыденной и научной интерпретации. Где проходит грань различения интерпретации, которую совершает социолог, и интерпретации обывателя, пытающегося понять причины, по которым его сосед перестал с ним здороваться? Казалось бы, обыватель совершает ту же самую процедуру: выстраивает события в последовательности, отличной от хронологической. Он начинает искать наиболее правдоподобную причину, исключая наименее вероятные: «Скорее всего, сосед со мной не здоровается вовсе не из-за того, что у него плохое зрение. Он не мог не заметить меня вчера на лестничной клетке...Причина появившейся холодности заключается также не в том, что моя собака на прошлой неделе облаяла его жену. В тот момент он лишь улыбнулся и после еще здоровался...Возможно, дело как раз в том, что он обиделся на меня, когда я позвал на праздник его брата, а его нет... А если бы я позвал его, что бы он ответил? ». В первом приближении научная и обыденная логики истолкования причин выглядят аналогично. Создаются вымышленные построения – нарративы, являющиеся возможными вариантами ответа на вопрос: «что могло бы быть причиной/основанием?». Тем не менее научная интерпретация, получив именно такое определение в обозначенных выше работах, претендует на статус, отличный от

статуса повседневного толкования акторов. Как все-таки возможно провести данное различие?

Проблема демаркации

Любопытно, что при сопоставлении научной и обыденной интерпретации привлекается третья, не сводимая к первым двум область знания – юриспруденция. Макс Вебер писал о такой методологической перспективе в тексте «Объективная возможность и адекватная причинная обусловленность в историческом рассмотрении каузальности». Впоследствии Поль Рикер, возвращаясь к поставленной Вебером проблеме каузального анализа, ссылается на работу Э. Д. Гирша «Достоверность и интерпретация», рассматривающую методы толкования в судебной практике.

Теория объективной возможности, призванная разъяснить принципы каузального анализа, основана на трудах физиолога Криса, а принятое применение этого понятия заимствовано Вебером у криминалистов: «в частности, Меркеля, Рюмелина, Липмана, а в последние годы – Радбруха».

В судебной практике аналогичным образом ставится проблема каузального значения человеческих действий. Вместе с теоретиками в области юридической науки историки и социальные ученые задают вопрос: «В какой мере принципиально возможно и осуществимо сведение конкретного результата к одной единственной причине, принимая во внимание то обстоятельство, что каждое событие обусловлено бесконечным числом каузальных моментов?». «Совершенно так же, – замечает Вебер, – как в вопросе о причинной обусловленности конкретного правонарушения, которое эвентуально должно повлечь за собой уголовное наказание или возмещение убытков в соответствии с гражданским правом, и проблема причинности в истории всегда ориентирована на сведение конкретных результатов к их конкретным причинам, а не на выявление абстрактных ‘закономерностей’». Существенным отличием судебного толкования от научного являются вопросы этического характера, когда речь идет о квалификации субъективной вины подсудимого (каковые не должны присутствовать в научном познании).

Сопоставляя каузальное сведение в истории и судебной практике, Вебер подвергает анализу его логическую структуру. По мнению Вебера, она выглядит

следующим образом. Выбирая наиболее адекватную причину, ученый расчленяет «данное» событие на его компоненты до той степени, которая позволит подвести каждый из них под определенное «эмпирическое правило» (отвечающее на вопрос «как это обычно бывает?») и тем самым установить, какого результата можно «было бы ожидать» в соответствии с эмпирическим правилом от каждого из тех компонентов, если бы все остальные выступали в качестве «условий». Суждение о возможности, следовательно, означает соотнесение с эмпирическими правилами, то есть предполагает наличие номологического знания (подобного тому, которое позитивистская социология пыталась выявить путем установления общих законов).

Однако выявление Вебером «эмпирических правил» в логической структуре каузального вменения не дает нам средства для различения обыденной и научной интерпретации. Лишь на первый взгляд может показаться, что речь идет о генерализованном научном знании. Но как замечает Поль Рикер, эмпирические правила, рассматриваемые Вебером, не превышают уровень диспозиционного знания (каким его представляет, в частности, Г. Райл). Иными словами, речь идет о том, «каким образом люди склонны реагировать в заданной ситуации». В логике процедуры поиска причины мы в очередной раз не обнаруживаем принципиального различия между обыденным и научным знанием.

Тем не менее у Вебера присутствуют два критерия демаркации научной интерпретации от обыденной. Первый можно представить как рефлексивность исследователя и обоснованность аргументации, которые, предположительно, отсутствуют в обыденных рассуждениях: «если же историк сообщает читателю только логический результат своих каузальных суждений, не приводя должных его обоснований, если он просто ‘внушает’ читателю понимание событий, вместо того чтобы педантично ‘рассуждать’ о них, то он создает исторический роман, а не научное исследование, художественное произведение, в котором отсутствует прочная основа сведения элементов действительности к их причинам».

В научном исследовании нереальные конструкции возводятся на уровень суждений об объективной возможности, приписывающей статус относительной вероятности различным каузальным факторам и таким образом размещаются на одной шкале (случайная причинная обусловленность – адекватная причинная обусловленность), хотя

градации данной шкалы не могут быть определены в цифровом виде как в случае того, что мы называем исчислением вероятностей в строгом смысле. Различные степени вероятности, таким образом, варьируются от случайной (игрок бросил игральную кость и выпала некая цифра) до адекватной (как в случае с решением Бисмарка развязать войну). Между этими двумя крайними градациями шкалы и происходит выбор причины. Чем более внятно и логически структурированно ученый обосновывает выбор конкретной причины, тем более научный характер носит его интерпретация.

Второй критерий – отнесение рассматриваемых причин к категории значимости. Здесь Вебер рассуждает как неокантианец. «Историку, – пишет он, – надлежит дать каузальное объяснение только тех ‘компонентов’ и ‘сторон’ изучаемого события, которые с определенных точек зрения имеют ‘всеобщее значение’ и *поэтому* исторический интерес, совершенно так же, как и судья, исходит в своем приговоре не из всего индивидуального хода событий, но только из тех компонентов, которые имеют *существенное* значение для подведения дела под определенную юридическую норму». Соответственно, социальный ученый или историк будет рассматривать вероятность именно тех причин, которые значимы для социологии или истории, в то время как обыватель будет исходить совсем из других соображений, имеющих отношение скорее к здравому смыслу. Так, социолог, выясняющий, почему среди католиков уровень самоубийств ниже, чем среди протестантов, скорее всего проигнорирует факты, указывающие на конкретные обстоятельства смерти, внешние данные самоубийц, их внутренние психологические переживания и психосоматические расстройства. Он будет смотреть на социологически значимые причины, например, социальные связи между группами.

Таким образом, мы приходим к выводу, что при всей схожести логической структуры интерпретаций в науке, обыденной жизни и судебной практике их можно различить с помощью критерия значимости и специфического интереса, которым каждая из них руководствуется. Тем не менее ученому приходится постоянно обосновывать научный статус интерпретации, создавая строгую систему аргументации, поскольку всегда существует опасность ограничиться лишь созданием нарративного сюжета. Возможно, это и есть один из пределов теоретизирования в исторической и социальной науках.